

Валентин Курбатов

Наводка на резкость

Из дневниковых записей

«Я пришел». Говорят, так здороваются народы на Крайнем Севере, входя в чужой дом. И это «я» с непреложным «пришел» кажется мне прекрасным. Значит, ты успел увидеть и себя в мире, и свое право занять место в чужом сознании, как в общем порядке жизни. За этим ясно стоит: я пришел, чтобы мы были вместе. И пришедшему отвечают: проходи, раздевайся, садись, рассказывай! Ну да, раз ты пришел, значит, ты пришел зачем-то. Вот и рассказывай.

Рассказываю. Минувший век, как, впрочем, и век девятнадцатый, был временем дневников. Человек еще был интересен себе, потому что еще не был «завален» другими людьми, всеобщим нынешним растворением в уличном, газетном, телевизионном, интернетовском хаосе. Он был медленнее и любопытнее, вглядываясь в себя, как в чужого, и тем научаясь видеть другого, пока не осознавалось, что видеть и слышать этого другого занимательнее интереса к себе и что другой — это счастье и чудо. Тогда твои личные дневники легко и безболезненно терялись, а записи встреч и разговоров как-то сами собой сохранялись, чтобы ты однажды увидел, что они — это твоя жизнь, твое время. И вы вместе и были частью общественной истории, где нет чужого.

Эти мои давние (и не очень) записи — не мемуары, не запоздалые воспоминания, когда минувшему придается стройность из опыта устойчивых лет, когда ты успокоился, нашел место, устроил кое-как свое мировоззрение и теперь подгоняешь под него все прошедшее. Это действительно дневник минувших лет. А он может быть уместен и интересен только как исповедь, как прямое свидетельство: «Так было». Трудность только в том, что даже и в посмертной публикации не раз оглянешься, а уж когда живой, то и того более. Что-то в этом «было» непременно придется и «поприжать», смягчить, сгладить, потому что один из героев твоих записей жив, другой болен, у третьего — дети. И поправляешь, смягчаешь, оберегаешь. И это уже как бы и не совсем дневник. Извиняешься только тем, что вмешательства твои минимальны и касаются не самих событий, а только нравственных оттенков. Что дороже: «милость к падшим» или неуклончивая правда, которая тоже «плавает» в зависимости от дня и порыва: сегодня скажешь одно, а завтра, смутившись, — другое?

Вся наша литература во многом «дневник». Как «Капитанская дочка» — «дневник» Петруши Гринёва, а «Казаки» — дневник Оленина, а «Жизнь Клима Самгина» — дневник этого самого Клима, а за ним мятущегося Горького. И если бы на полях этих книг печатать

В преддверии 80-летия замечательного литературного критика Валентина Курбатова в издательстве «Красный пароход» выходит том его дневников. Мы благодарим издательство за предоставленную возможность опубликовать избранные страницы записей за последние полвека.

живые дневники их авторов и их несчетных современников, они обнаружили бы живое родство. И было бы особенно видно, как гений аккумулирует время и человека, оставляя вместо сонма частных дневников — один на всех, который зовется потом «Капитанская дочка», «Герой нашего времени», «Рудин», «Подросток», «Последний поклон» и т. д.

А отчего решаешься показать дневник при жизни, тогда как предшественники оставляли свои дневники в тесноте столов и шкафов, иногда даже не по разу перепрягивая, чтобы нечаянно близкие не увидели тебя «неодетым»? Ну, во-первых, мы уже таких исповедей, как Лев Николаевич, чтобы прятать от Софьи Андреевны, не пишем — глубиной не вышли, чтобы видеть в своей жизни отражение небесной всеобщности. А во-вторых, все равно бы отваги не хватило. А уж в самых последних — ведь начинаешь то писать просто из неожиданного чувства отстраненности, словно себя со стороны увидел, а уж потом втягиваешься: жалко провозжать день, не оглянувшись.

А теперь вот еще думаю, что это даже не мы, а само время ухватывается за нас, чтобы остаться (отчего если все в мире живо, то время безлично и безгласно?), и ему хочется увидеть себя со стороны, отразиться в слове — единственном организме, неподвластном смерти. Не зря еще в евангельском детстве человечества было сказано, что «слово — плоть бысть». Вот и время, одетое в слово, говорит, что все мы — плоть едина, что мы и есть то, что зовется жизнью, а она не сама по себе идет мимо. Как замечательно было написано Арсением Тарковским: «Вот почему, когда мы умираем, оказывается, что ни полслова не написали о себе самих, и то, что прежде нам казалось нами, идет по кругу спокойно, отчужденно, вне сравнений и нас уже в себе не заключает!»

Вот и теперь, оглядываясь, вижу, что подлинно «все идет по кругу» и, значит, кто-то увидит в этих страницах и свое нечаянное отражение, потому что всякий дневник — только эхо нашей общей разговорчивости, старая тень Достоевских «трактирных мудрецов», которые через две минуты после встречи уже решают вопросы мира. Торопятся «назвать» мир, а «назвав» — победить и «присвоить». И если уж и при тирании нас хватало «на полразговора» (О.Мандельштам), то в семидесятые-восемидесятые-то, к которым относится большинство записей дневника, нас уж и вовсе было не удержать. Разговоры всегда были наш «парламент» и наша «дума». И как часто они были глубже нашего «общественного» бытия! Что-то бы, конечно, и скрыл (слишком свое, единичное), но теперь вижу, что тогда пропадет «подлинность» и не будет понятна домашняя бесхитростность свидетельства: писалось-то не для других, а чтобы самому не забыть.

Как было не записать, не удержать в памяти то, что говорили Астафьев или Нагибин, Елизар Мальцев (помнит ли кто теперь этого лауреата Сталинской премии?) или Валентин Берестов, Анастасия Цветаева или Арсений Тарковский (Господи, я застал их всех!). И, поверьте, это записывалось не для возможных публикаций и тем более — не для «грядущих поколений». Не было тут честолюбия. Было счастье встречи и желание поделиться ею с друзьями, с самим собой (ведь непременно скоро забудешь, а разогнешь дневник — и благодарно вспомнишь и их, и себя той поры).

Конечно, при записи чуждой умной мысли я неизбежно приделывал в ней кончик, чтобы завершить, вынуть завершённый смысл из текучего хора речи. И конечно, часто завершал «из себя», так что мой собеседник, покажи я ему потом написанное, может быть, и не узнал бы себя. Хотя однажды я показал уже больному Семёну Степановичу Гейченко¹ записи его импровизаций, которые нет-нет записывал за ним при наших чайных сидениях, и он обрадовался, как на минуту вернувшемуся здоровью, и радостно сказал, что это «надо паки и паки печатать». Он ухватывался этими невозвратными импровизациями за жизнь, но, значит, эта жизнь в них была — и она была его. Это сейчас ободряет меня и при чтении других записей.

Мне почему-то кажется, что сегодня дневники ведутся реже. Потому что нет «провинциальных юношей». Все благодаря телевидению стали «столичные». И нет «великих людей». Есть «раскрученные». А это разные люди. «Раскрученные» не поразят сердца ни отличностью взгляда, ни неожиданностью мысли, ни новым поворотом мира.

¹ Гейченко Семён Степанович (1903—1993) — русский и советский писатель-пушкинист, музейный работник. В апреле 1945 года был назначен директором Пушкинского заповедника в селе Михайловское Псковской области. В этой должности в течение 45 лет работал над воссозданием пушкинских мест.

Уходит иерархия, та сложная система духовного строения общества, где все соединено — живая простота «уличного» повседневного человека, прорывы «ищущих» и небесный синтез великих умов, которые собирают мир и на которые мир смотрит с благодарностью, словно препоручая им себя, свою жизнь, свое страдание, свою любовь, свою веру, зная, что они не подведут, не дадут пропасть в забвении, запишут.

Большинство этих дневников так или иначе растворилось в очерках, в моем «Подорожнике», в «присвоенных» мною у моих собеседников мыслях, разошедшихся по статьям разных лет. Но теперь мне бы хотелось оставить их «как есть», потому что они уже интересны как портрет времени и собственный мой портрет как одного из человеческого потока, «типичного» прохожего уходящего поколения. А кое-что оставить уже «обработанным», переведенным в очерк, потому что там живо слышно дыхание дневника, который обычно по окончании труда выбрасывался, — он ведь и писался как подспорье. И вот теперь видишь, что переодетый-то переодетый, но все — дневник.

Писал давно — со школьной поры и в пору флотского служения, когда особенно нетерпеливо оглядывал жизнь. Но там одно жадное чтение, выписки и комментарии — «самодельная школа». Там Сартр и Ницше, там Ясперс вперемежку с Толстым и Р. Гароди с Ю. Трифоновым. Там удивление богатству мира и детское желание упорядочить и подчинить его. Потом все это обнимется одним словом — «шестидесятники». Я видел такие дневники у великого графика Ю. Селиверстова и читал позже у Венедикта Ерофеева. Что значит сверстники! Кажется, мы заглядывали друг другу через плечо: эти общие попытки заговорить на древних языках, эта высокая заемная философия, это тайное обещание себе быть чем-то. Слава Богу, все это как-то само собой пожелтело и осыпалось. И все, что казалось годным и «носским», постепенно вытерлось и поистлело, как сукнецо на шинели Акакия Акакиевича.

Сейчас, наверно, перечитал бы с жадностью, потому что память с годами меркнет, да вот уж что съедено молью времени, годами и переездами, то съедено, и начинается оставшееся «в живых» уже с семидесятых. Ну и с Богом!

6 января 1970 года

Все время ловлю себя на желании соперничества с теми, кто сегодня был моим собеседником и противником. Привязанности могут меняться в течение дня, а с ними и порывание ума в разные стороны. Утром еще думал заняться описанием характеров, чтобы потом на равных беседовать с Лабрюйером¹, а в обед уже манят дерзости Вольтера и хочется надавать пощечин времени. И уже так и видишь, какие могли явиться язвительные страницы и какой парад масок, даже если и не заглядывать далеко, а ограничиться, как Джойс², временем с утра до полуночи.

Но потом неожиданно спотыкаешься о последнюю фразу «Кандида»³ «Но надо возделывать свой сад» — и только что измышленная тобою толпа лжецов оборачивается товариществом несчастных подвижников, созидających из того, что есть, обыкновенный завтрашний мир. К вечеру забыто и это, и рука рвется к сочинению бесовского романа в подражание Лакло⁴, чтобы тень дьявола летела над каждой страницей, вызывая в читателе отвращение и привязанность.

А к ночи наткнешься на старенькую книжку ядовитого Минаева⁵, и она подsunет тебе остужающее зеркало: «И, как ум разнообразный, всяких принципов держусь». Вот-вот — всяких.

¹ Жан де Лабрюйер (1645—1696) — французский моралист.

² Джеймс Огастин Алоишес Джойс (1882—1941) — ирландский писатель и поэт, представитель модернизма. Автор романа «Улисс», где на 600 страницах повествует об одном дне (16 июня 1904 года) дублинского еврея Леопольда Блума.

³ «Кандид, или Оптимизм» — наиболее часто публикуемое и читаемое произведение Вольтера.

⁴ Пьер Амбруаз Франсуа Шодерло де Лакло (1741—1803) — французский политик, изобретатель, военачальник и писатель, известный главным образом как автор эпистолярного романа «Опасные связи».

⁵ Минаев Дмитрий Дмитриевич (1835—1889) — русский поэт-сатирик и переводчик, журналист, критик.

14 сентября 1972 года

С особенной отчетливостью я заметил это в Глубоком в счастливую поездку 12 мая 1972 года. Вздох восхищения при въезде был почти мучителен, исполнен какой-то физической боли. Я тогда сказал об этой боли от красоты, пока мы ехали с московским критиком Толей Ланшиковым в Глубокое¹, в гости к Юре Куранову², и Толя легко объяснил, что мне просто постоянно хотелось бы жить в виду этой красоты, но не достаёт мужества, потому что отравлен городом. В этом была какая-то слишком узкая практическая правда. Я наверное знал, что порыв был пробужден не сожалением о недостатке мужества, что боль была другого истока.

Такое у меня было в прошлом году в Ялте в день отъезда, когда я почти плакал, не желая оставлять море и горы. Так было теперь в Изборске в холодный ветреный день середины сентября, когда я вдруг отчетливо понял, что все прочитанные книги, вся услышанная музыка, все холсты и фильмы меркнут перед этим небольшим (вот только тем, что перед глазами) пространством. Движение холмов, лезвие реки, притупленное зарослями камыша, безлюдные деревни на холмах и в долинах, одинокие деревья и крест оставленной церкви — все это неподвластно слову. Гоголь, написавший «Русь! Что зовет и хватает за сердце», ничего кроме своего смятения не назвал. А бессильный бег букв выдал только такое же отчаяние сердца.

Отшельники, потрясенные однажды этим безмолвием, уходили из мира, кормили медведей с руки, молились, смотрели на звезды и вслушивались в молчание, пока Бог не открывал им тайну небесной полноты мира, и лицо их светало. Но «в награду» он отнимал у них речь, и они сами становились безмолвны и непостижимы, как деревья, холмы, камни и небо.

Слово тут инструмент слабый. И не один Гоголь тому подтверждением. Толстой однажды увидел небо Аустерлица и протянул его полог над князем Андреем. Но разве испытываем мы что-нибудь, кроме умственного удовлетворения, читая этот прекрасный текст? Разве есть хоть тень того ужаса и восхищения, которое испытывает человек перед пространством, в этих хоть и смятенных, но все-таки слишком повседневных словах? Мы можем мимолетно подумать о суетности жизни, но никогда не испытаем мучительного потрясения, которое готовы предположить в князе Андрее.

В живописи об этом пытался сказать Рерих, но роскошью цветковых плоскостей, мощью звучания почти симфонического заслонил первородство впечатления. Нестеров, знавший обезоруживающую красоту природы и умевший сказать о ней с самой русской нежностью, все-таки слишком благостен и как-то литературно мягок. И хоть человек в его холстах уравнен с деревом, камнем, водой в духовной полноте (скажем, «Пустынник»), да я-то вхожу в его согласное молчание посторонним. И умом это согласие слышу, а в себе как был беспокоен, так и остался. Может быть, боль, приносимая красотой, как раз от этого — от посторонности, от того, что не знаю тайны молчания, не вошел в тайну безмолвного Господнего согласия. И там, в Глубоком, и в Ялте, и вот тут, в Изборске, Малах, оттого и мучаюсь, что не решусь на молчание, которое одно может ответить и Гоголю, и Толстому.

Дай ответ? А он перед глазами.

¹ Глубокое — деревня в Опочецком районе Псковской области России, расположена на берегах озера Глубокое.

² Куранов Юрий Николаевич (1931—2001) — прозаик, поэт, автор лирических миниатюр.

18 января 1975 года

Бог лишил меня судьбы и биографии. Да и у других с биографиями дело обстоит никудышно. Нет ни классической неторопливости старых биографий дворянско-мужичьего века, ни безумных путаных, страшных революционных и военных. Есть пустое вращение лет, задержавшееся младенчество. Не то что презрение,

а неозабоченность биографией. А уж о судьбе и говорить нечего. Она почти не выпадает нам. Поглядываю на своих сверстников и ни в одном не чувствую шага, направляемого Промыслом и предназначением, — все сами. Не эта ли скука и зовется «хозяйева своей судьбы»?

6 июня 1976 года

Умирают дружества, салоны, искусство беседы, посиделки, дурашливые общества, розыгрыши, товарищества художников и актеров, писательские объединения. Умерла культура узкого круга, маленького космоса, который заменял отцам и дедам (именно дедам) вселенную, и они вместо хождения вширь глядели вглубь. Стены их комнат, их гостиных были выше, а картины висели маленькие, потому что вдох и выдох были просты, каково и должно быть дыхание. Нынче мы вдыхаем каждый раз, как будто хотим спеть «Интернационал» или прокричать «ура», и поползли по стенам мастерских огромные холсты, забывшие о полотне, на котором писаны, и упорно притворяющиеся стенами небоскребов. Живопись упорно притворяется фреской не только размером, но и техникой. Комнаты опустели, цвет в них угас. Пришло царство графики, и графики тиражированной, тоже довольно урбанизированной, потому что умерла миниатюра, искусство небольшого портрета и пейзажа, которые во всяком доме одушевляли стены. Началось писание для музеев и выставочных залов, разговор сразу с толпой, а не с человеком. Холсты стали бояться доверчивого собеседника с человеком и не умеют оставаться наедине с ним, потому что вдвоем нельзя кричать, а шептать и говорить вполголоса они не умеют.

14 июня 1976 года

Нельзя уезжать от родных мест, где жили поколения твоих предков, пока твой ум не окреп настолько, чтобы унести их в своем сердце. Да, к сожалению, не властны мы в самих себе в этом возрасте, а уж если бы были властны, так и того хуже, потому что непременно черт унес бы в неведомые страны, о которых успеваешь наслушаться к семи годам из разных рук. И вот война сдергивает всех со своих мест, и люди едут, бросая свои гнезда, неизвестно куда, где их ждет новая жизнь, новые обычаи, новые люди, среди которых они найдут друзей, с которыми потом породнятся, и начнется новое поколение. Они будут первыми, начнут называть мир первыми словами и расставлять новые огни. Историческая память окажется почти чужой, почти литературной, словно прочитанной, потому что не будут шуметь вокруг родные ветви и не будет дали наследования: от дедов к отцам и детям. Все это осталось там, на далекой уже, скорее исторической, чем реальной, земле. Все, что будут рассказывать близкие о той жизни, покажется почти придумано — так неотзывно далеки имена и связи, так безмолвно будет внимать душа этим мифам уже отшумевшей крови. Новое, первое поколение перенесет утрату без особенной боли, разве только иногда блеснет луч любопытства, но сейчас же угаснет.

А вот кому будет действительно трудно, так это тем самым, семилетним, кто уже успел задеть краем ту жизнь, наполнить легкие тем воздухом, а потом растерял, растворил все в беге дней, в новых впечатлениях и товарищах. Он долго не будет подозревать об утрате и будет оборачиваться к прошлому с улыбкой, все туманнее различать его черты, пока оно не обернется в одно только светлое облако на самом горизонте, на самом утре жизни — дальше, легкое сияние, одно только ощущение без плоти. Но однажды кровь окликнет бывшего мальчика, и он рванется назад, но уже не будет знать дороги.

Где они, эти деды, эти тетки, эти дядя, это поколение соседей с их мифами, где та деревня, та единственная река, тот единственный лес, населенный преданиями, та глубь времен, переданных поколениями незаметно, как-то само собою, в застольных домашних разговорах, в простом ежедневном быте? Где память рук, где память глаз,

память слуха к земле, где, наконец, родные могилы, которые воспринимаются так естественно, потому что умершие живут в той же деревне, вместе со всеми, так что можно еще обернуться на их оклик?

Ничего не осталось — и облако вдали делается дорогим, и ты всматриваешься в него, пока не выступят слезы. Вот тут и понимаешь, что у тебя не осталось корней, что они невозстановимы и остается только с болью проститься с той небывалой жизнью и, скрепя сердце, начать сызнова, чтобы твой сын не узнал этой тоски и страдания (тут поместилась вся тихая деревенская лирика, с печальным бессилием стремившаяся восстановить ампутированную историческую память).

12 июля 1976 года

Невольничество, постыдное рабство устойчивых форм и есть, наверное, символ безвременья. Литература, томясь, бьется в тисках канонов и, кажется, не замечает этих канонов, обманываясь ложными противостояниями и фальшивым новаторством. Единственное новаторство, недостижимое почти во всякое время, — совершенная свобода духовного собеседования. Не устного домашнего, а публичного. И сколько падает талантов, рожденных для слова и славы, жертвою безволия, жертвою своей безгливости к средствам утверждения.

Война — удел гениев, и они вознаграждены благодарной, часто невольной признательностью поколений. Судьба, как бешеная лошадь, несет их напролом и часто выносит к славе уже мертвых всадников, которые видели одну сиявшую впереди идею и не глядели под ноги своим безумным коням.

Талант осмотрительнее. Он не забывает взгляды на препятствия и порою мог бы перескочить, но от робости объедет. Так будет длиться, пока судьба не бросит его на произвол биографии и не пустится искать более отважных седоков...

Время равнодушно принимает жертвы, списывая их без осознания утраты, не видя, что закапывает неотпетой свою возможную славу.

Бедная художественная история, жалкая художественная история. Она все никак не выучится оглядываться на свои брошенные кладбища, где врастают в землю надгробия книг, холстов, симфоний, которые обещали быть прекрасными, в которых под породю таилась чистота бессмертного мрамора, но их создатели были только талантливы. Они не были богами, гениями. Они были только людьми и ждали простого дружеского приветия, доверия к своему делу, чтобы отдарить мир чудом. Да и Бог с ним, с приветом. У них только не надо было выдергивать перо или резец, не кричать под руку этого вечного, торжествующего подлого «не так!» Не надо было методически пугать их культурой освященных образцов, мумифицированными идолами, божественным вчера, превращенным в дьявольское сегодня.

Но история по-прежнему остается школой без учеников...

19 августа 1977 года

Видно, напрасно я ищу того детского товарищества, когда страшно было расстаться друг с другом и утром я торопился к несколько часов назад оставленному товарищу, как после долгой разлуки, — улыбаясь, ликуя, всей душой обнимая его. Это невозвратно, потому что избрал дорогу сочинителя. С той поры как выбрал в собеседники бумагу, она стала и другом, и возлюбленной, и братом. На живое общение души не остается. Все время чувствуешь столб воздуха, разделяющего тебя и собеседника.

Мы все отгорожены друг от друга письменными столами. Не заплачешь и не засмеешься без того, чтобы разум не успел сделать ситуацию литературной. Как тургеневские барышни из «Рудина», которых Пигасов никак не мог заставить за искренним движением души, — непременно успеют или платочек к глазам поднести, или подбоchenиться. Вот и мы так. Хотя при этом первенствуют самообман и ложные клятвы. Сам себя обманываешь видимостью дружества, потому что без этого нельзя,

это есть правила игры, которые ни правилами, ни игрой не сознаются. Есть память детства и попытка сохранения тех состояний, пока не взглядишься и не увидишь, что все выгорело и идешь по пустыне.

20 августа 1977 года

Это одна сторона, и, может быть, не самая главная. Главное-то, наверно, в том, что дружба возможна только при условии полной доверчивости. В детстве наши тайны так малы и так нестыдны, что мы делимся ими счастливо и открыто, и это соединяет нас с нашими наперсниками. Потом заводятся тайны, которых уже не откроешь. Скрытность овладевает нами все решительней, она становится условием существования, — и прощай, дружба. И, если ты научился писать, — здравствуй, сочинительство! Не оттого ли люди заводят дневники, эти бумажные двойники друзей, эти бумажные стены от друзей реальных? А прозаики пишут прозу и открываются тут? Хуже всего тем, кто и без дневника, и без дара сочинительства. Ему остается одно чтение, которое не приносит полного освобождения.

13 октября 1977 года

А ведь скоро у нас не останется народа — тех мудрых деревенских, именно деревенских, стариков и старух, которые выросли среди трав и небес, на тяжелой работе и умели слышать землю, как человека, и не знали врагов, кроме засухи, ранних морозов и града. Литература благодарно славит их с той поры, как стала сознавать себя и восхищаться их простой мудростью, потому что настоящая мудрость и настоящая философия просты, и выковала уже некоторый стереотип такого мудреца, и расторгнула его простоту на копейки заурядного здравого смысла, переодетые в рубли откровений.

Уходит человек от земли, все выше поднимает его сиденье трактора над пашней и полем, и он все больше начинает ассоциировать с полем запах бензина, а не дыхание жаркого хлеба. И умирает мудрость. Старики еще живут, но редуют непоправимо, и скоро явится новое поколение стариков, уже не исповедующих живую религию полей и облаков, и деревенские старики станут похожи на городских. А кто видел в литературе спокойного мудрого городского старика, в котором была бы настоящая сила природы? Нет стариков, есть старые пролетарии, тоже с устойчивым стереотипом, но это уже другая жизнь — социальная, урбанистическая, и философия тут книжная, рассудочная, конструктивная. А «народ» умирает. И этого не остановишь.

27 ноября 1978 года

Трагическое чувство утрачено вместе с утратой эсхатологических представлений. Как только смерть перестает быть осмыслена как эсхатологическая ступень и как только ужас смерти перестал быть просвечиваем светом преображения, так трагедия и отошла. Трагедия осуществима на стыке, на границе Царства Духа и Царства Кесаря. Сами по себе эти Царства — одно свет, другое тьма, а пограничье — трагедия.

21—28 февраля 1979 года

Кострома.

Иней. Пополам согнутая старушка идет к заутрене в Воскресение на Дебре¹ и, насили разгибаясь, стоит и шепчет почти с испугом перед красотой Божьего мира: «Господи!» И легкая тень печали задевает глаза, как усталая улыбка костлявой спутнице, уже поселившейся в теле: «Что, безносая дура, понятно теперь, почему, и пополам сломанная, все не тороплюсь уступить твоей ласке?»

Веселый нищий Кудеяр, еще не уставший от набегов и полюбовниц, радостно просит подавание под синим небосводом паперти. Служба спокойна, празднична, проста (все вместе). Школьники в синих форменных костюмчиках подходят к причастию и, дожевывая тело Христово, весело блестя глазами, шмыгают между не

сердито одергивающих их старух. Молодая женщина с милым, нежно-русским лицом счастливой матери (поди, сельская учительница из недавних петербурженок, начитавшаяся про народоволок) поднимает младенца навстречу евхаристической ложечке, и белая вязаная шаль спадает ей на плечи, открывая прекрасные волосы, которые она вновь тотчас прячет под инейно-легкой шалью.

В соседнем Трехсвятительском приделе молоденький священник, едва из мальчиков, готовит аналой для исповеди, а седенький, с жидкой косицей дьячок в вытертой рясе (на пояске уже не разобрать выношенного текста 90-го псалма) макает палец в купель, проверяя: не холодна ли вода? Детей крестят много, и крик стоит, как в поликлинике на уколах. Шумно, обыденно, а хор светло гремит сверху, и народ тянется приложиться к иконе Фёдоровской Божьей Матери и кресту.

Иконы уже не видать. Горит одна золотая риза. Старушка прерывающимся голосом спрашивает у меня: «Ты ведь приезжий, сынок? — и сует вспотевший в ладони рубль: — Помолись за болящего Юрия». Плач перехватывает ей горло, и во мне обрывается от жалости сердце. Наверное, и моя мама вот так просила кого-то, когда болел брат. И я молюсь о неведомом Юрии и всеми силами прошу о его исцелении. Потом отдаю рубль старику на паперти и прошу сделать то же.

Правильно ли делаю — бог весть. Оторвавшиеся от церкви, мы темны и неловки в ней и слишком думаем о себе со стороны и мешаем молитву с оглядкой, чтобы было как у людей, возвращаемся в начальную школу веры и молитвы.

А день горит радостно, настоящей Масленицей, и я иду к Ипатьевскому монастырю² прямо по Волге, а он, приподнятый розовым светом, солнечной дымкой, словно висит над снегами вдали и медленно проступает из света. Купола затуманены сиянием инея, кружевно затканы им, и только под самой стеной я вижу, как они горят сквозь ветви деревьев, золотые на синем.

Смотрю на пир росписи и не могу насмотреться. И опять торжествует синее, словно подсинен сам воздух, словно обнимают тебя чуть выцветшие небеса, а стены горят под пробивающимся в окна солнцем, и энергичное библейское человечество строит храмы. Молится Богу, слушает пророков, воюет, страдает и умирает. И нет этому человеческому празднику жизни ни конца, ни истления...

¹ Церковь Воскресения Христова на Дебре — православный храм в Костроме, на берегу Волги.

² Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь — мужской монастырь в западной части Костромы на берегу реки Костромы, недалеко от ее впадения в Волгу. Обитель сыграла заметную роль в событиях Смутного времени. В честь монастыря названа найденная там Ипатьевская летопись.

Эта тетрадь 1979 года мне особенно памятна. В 1978 году я был принят в Союз писателей и впервые «равноправно» засобирался в Дом творчества. Тогда «писателей» (как посмеивался Астафьев) народ еще жаловал, и держали эти Дома творчества в Переделкино, Пицунде, Малеевке, Коктебеле, Дубултах. Это было недорого и удобно. Я купил себе толстую тетрадь, и мне не терпелось заполнить ее новыми впечатлениями, потому что казалось — теперь у меня и зрение будет другим. Отсюда и прыгающее начало, как при наводке на резкость.

13 сентября 1979 года

Читаю «Писарева» С.Лурье и вдруг обращаю внимание, что Базаров у Тургенева умирает двадцатилетним. А мы его по песочным бакенбардам и красным рукам и склонности к Одинцовой чуть не к сорока уводили, чему отчасти и кинематограф способствует. Вот теперь я и понял, почему и Базаров, и Пьер Безухов с Андреем, и множество других героев в кино и театре глядят стариками, словно мы не слышим

указаний текста. А тайна тут простая — в нас живет школьный ребяческий стереотип: нам они в школе все старики, а когда выйдем из школы, уже ничего не меняется, и хоть нам самими пятьдесят, а те, школьные, Базаровы и Безуховы все равно кажутся нам старше нас годами./.../

18 сентября 1979 года

Его зовут Seppsterreicher. Этого молчаливого до времени старика за столом в галстук бабочкой. Это псевдоним. На самом деле он Борис Львович Брайнин¹. Целый день сегодня я слушаю его — и смеюсь и плачу. И к ночи устаю и прощаюсь, только чтобы хоть немного донести до этой тетради.

— Моего следователя звали Далингер. Немец. Это было в саратовской тюрьме, куда меня в октябре 1936 года привезли из Энгельса (коммунист, он бежал из Австрии с приходом фашизма, когда подпольная жизнь стала невозможна, и работал в Энгельсе учителем среди поволжских немцев. Его жена и дочь погибли в Майданеке, а подпольная его квартира в Вене работала и тогда, когда он уже сидел у нас в лагере как шпион фашизма. — В.К.).

Я очень любил свою мать и не мог переносить русских ругательств. Далингер скоро понял это и провоцировал меня. И вот уже в 44-м году, когда я был в трудармии (уже не в лагере, уже вместо «гражданин» можно было говорить «товарищ»), я узнаю, что Далингер на соседнем лесном участке. Я прошу туда наряд, и, когда меня спрашивают, зачем, я отвечаю: «для коллекции судеб». Начальнику это нравится, и я иду. Вместо цветущего толстяка я нахожу доходягу и спрашиваю его: «Ты узнаешь меня, Далингер? Ты помнишь дело Брайнина?» Он бледнеет, и я успокаиваю его, что свою пайку он получит вовремя. Узнав, в чем дело, мужики начинают его бойкотировать, и ему остается только попроситься на другой участок, дальше на север.

Когда меня освобождали в 1946 году в ссылку, я еще раз поехал повидать его: «Далингер, меня освобождают. Скажи, за что ты посадил меня? Неужели ты верил, что я шпион? И что сделала с тобою судьба? Почему ты здесь?» Он был немногословен и только, подняв глаза, спросил: «Я защемлял тебе левую руку в дверь, чтобы правой тебе оставалось подписать протокол?» — «Нет». — «Я накачивал тебе воду в живот?» — «Нет». — «Вот поэтому я и здесь». Мне стало так стыдно, что я извинился перед ним. Их было много тогда — прокуроров, следователей, кто не выполнил план, кто еще во что-то верил.

Нижнетагильский комендант ссылки, знавший меня еще по лагерю, однажды спросил: «Что-то я не верю, что ты шпион. За что же ты сидишь?» — «Я сижу за то, что я коммунист». — «Ну, это ты брось, я тоже коммунист», — но лицо у него стало серьезным. Он вообще когда-то много сделал для меня. Теперь, если бы я стал писать о лагере книгу, я назвал бы ее «Похождения бравого зека вридола». Вридол — это слово встречается у Солженицына, но автор его я. Когда мы с братом — доктор математики Венского университета он и доктор филологии того же университета я (он потом уточнит, что учился еще в Сорбонне, слушал в Вене лекции доктора Фрейда и т.д. — В.К.) — валили первое дерево, это стоило видеть. Нам дали топор, вонючую тряпку в керосине, какой-то клин и пилу и показали, какое дерево валить. Нарядчик ушел дальше, а мы глядели на дерево и не знали, как за него приняться. Брат сходил на звук к соседям и, придя, поделился: они пилят его поперек.

И мы тоже стали пилить поперек. Скоро пилу заело. «Ты зачем ее держишь! — кричу я. — Мне тяжело». «Это ты ее держишь!» — орет он. Мы позвали нарядчика, он сказал нам, кто мы такие, и научил, что сначала надо делать заруб. Мы сделали, забили клин, и я сел отдохнуть, конечно, на тряпку с керосином, и брат уже боялся курить рядом со мной. Пила немного пошла, но скоро дерево опять село на нее, потому что надо было пилить с противоположной от заруба стороны, а нам казалось, короче с этой. Дерево не просто село, а как-то вдруг завертелось и пошло падать во все стороны

сразу. Брат кинулся в одну сторону, я — в другую, конвоир кинулся посередине сразу за обоими, решив, что мы ударились в бега, но нас и след простыл. Чуть потом обратно дорогу нашли. Обоих на сутки уперли в карцер.

Через месяц такой работы я весил 45 килограммов без гроба, у меня началась куриная слепота, и днем я видел одни круги, а вечером вообще ничего. Меня отправили на блатную работу — возить кирпичи на обжигной фабрике. Я обжигался, падал, это было очень смешно. Лучше не делалось, и тамошний начальник однажды позвал повара и меня и спросил у повара: «Как, по-твоему, он долго протянет?» — «Нет, — ответил тот, — он сдохнет довольно скоро». — «А кто же нас будет смешить? — развеселился начальник. — Возьми его и корми». Меня стали кормить как на убой. И это было очень страшно. Я съедал ведро баланды, не мог встать и сидел голодный. Это никак нельзя было объяснить. Но зрение стало лучше.

Я не знал русских песен, даже блатных, а петь очень любил, и возил тачку, наступая себе на портянки, которые так и не научился наматывать, и пел тирольские песни. Голос у меня был звонкий, и я ничего не видел вокруг. Однажды пришло начальство, и, услышав мое пение, вот тот будущий тагильский комендант окликнул меня: «Эй ты, Лемешев! Ты что кричишь? Ты в опере? Ты чем тут занят, кем работаешь?» — «Разрешите доложить, — говорю, — я работаю вридоллом». Они переглянулись, вспоминая, что это за профессия: «Каким вридоллом?» — «Разрешите доложить, временно исполняющим должность лошади». Начальник захохотал: «Ладно, зайди ко мне. Ты не будешь вридоллом». И меня послали учиться на десятника, и я узнал марки древесины, правила валки и много других премудростей и вернулся в лагерь десятником. Мы валили строевой лес. План был большой. А тут однажды смотрю: какой-то шкет сложил сухие палки и ходит вокруг них. Я подошел: «Ты кто?» — «Заключенный Полгжебинский!» — «Ты считаешь, это лес? Тебя и последней пайки лишат, и ты протянешь ноги». — «Это не лес. Дайте мне ваш молоток». Я отдал ему свое маркировочное клеймо, ничего не понимая, а он вдруг пустился стучать им по своим палкам, и вышла чистая, звучная, даже веселая мелодия. Это был настоящий ксилофон. «Слушай, ты кто?» — «Профессор Варшавской консерватории». А я всегда безумно любил музыку и хотел играть. «Научи меня играть на скрипке». — «На чем угодно, — говорит доходяга, — только корми».

Скрипку он сделал сам (из «щепок, которые летели»), два дня не работало радио: он отрезал провода на ля и ми, и его никто не выдал. А смычок было просто сделать из хвоста — лошади в лагере были. Это был суровый учитель. Но зато я не только научился играть на скрипке и на гитаре, но читать ноты и даже записывать их с голоса. И потом выпустил два песенника народных немецких песен. Для этого в издательстве «Просвещение», где я их печатал, меня спросили о моем музыкальном образовании. Я назвал венскую школу дирижера Мойера, хорошо зная, что он давно помер и школы этой нет, а в душе поблагодарил великого Полгжебинского, который сгинул в 1942 году. Я писал ему норму по 200 процентов, отнимая у других по 0,25 процента, и никто нас не выдавал, а на утренних разводах его вызывали перед строем и показывали всем: «Ведь вот же, совсем не голиаф, а стахановец, а вы, сучьи дети...» Профессор скромно опускал глаза.

Там были прекрасные люди. Герои. Я читал Солженицына всего вдоль и поперек. Там все правда. Но только черная правда. А там были герои. В немецких хрестоматиях есть моя сентиментальная баллада «Иоганн и Иван», о том как на сплаве в заторе русский спас заключенного немца. Этот русский был конвоир. Я держал его винтовку, пока он сушился у костра (уже был снег) и, не попадая зубом на зуб, умолял нас, чтобы никто не проговорился о его поступке. И там были мудрые люди. Один добрый ветеринар при мне на конюшне, когда мы вошли и увидели, что конюх Гофман уже приладил веревку и продел голову в петлю, не закричал, не кинулся, а только окликнул: «Гофман, ты, кажется, собираешься повеситься?» — «Да», — просто и

печально ответил Гофман. «Но тогда пропадет твой ужин!» — так же просто сказал ему ветеринар. И Гофман пошел за баландой.

«Господи! — говорил мне, допивая в Переделкино за ночь вторую бутылку водки, Твардовский. — Ты дурак, Сеп, ты выбалтываешь это вместо того, чтобы писать и писать». — «Александр Трифонович, — сказал я ему, — я еще не устал ходить без конвоя».

Я перевел на немецкий первую главу «Онегина». Вот послушайте... Это страшно трудно, потому что каждый член предложения в немецком языке ведет себя, как добропорядочный филистер, у него обязательно должно быть свое место, и в этом его *Ruhig* и его *Ordnung*. Что хотите, а *war*, *hat*, *ist* должны стоять в начале или конце предложения, как перронные билеты, без которых немец не выйдет к поезду даже при землетрясении.

Лагерный жаргон я узнал еще в тюрьме и там же начал составлять словарь и записывать блатные песни. Это помогло мне потом выжить. Однажды уркачи взяли лагерный ларек. Дело было чистое, и, хоть все знали кто, начальство смолчало. Брал ларек бандит по кличке Москва — красавец и чистюля — с дружками. После передела имущества остался «лишний» кусок колбасы, и тогда Москва объявил назавтра конкурс матерщинников. Пришло начальство, урки, политические. На столбе посреди двора висел кусок колбасы, под столбом сидело жюри: Москва, его заместитель Гарцев и шеф лагерных проституток 22-летняя красавица Роза Завьялова. Перед этим я не спал всю ночь. Вдохновение пришло под утро.

Соискатели выходили один за другим. Москва кривился от дилетантизма и звал следующих. «Можно я?» — я наконец решился. «Фраера не допускаются!» Но публика загудела, и жюри ушло совещаться. Через минуту мне было разрешено выступить в виде исключения. И я сказал! Москва встал и без обсуждения снял колбасу. Я рванул в женскую уборную и там смолотил кусок. Колбаса была копченая, и я не понял, сколько ее было.

¹ *Брайнин Борис Львович* (1905—1996) — австрийский и советский поэт, полиглот, переводчик поэзии на немецкий язык (в том числе «Евгения Онегина»). Был арестован НКВД в 1936 году, находился в лагерях Северного Урала и в трудармии, в ссылке в Нижнем Тагиле и в Томске. Реабилитирован в 1957 году. Написал мемуары о пребывании в лагере и в трудармии.

7 июня 1980 года

В «Литературном обозрении» затеяли дискуссию о роли критики. И никто не хочет признаться в главном, что критика сейчас — анатомирование трупов, а не соучастие в жизни. Проза и поэзия уже не хранят жизнь, а умерщвляют ее в муляжах и подобию. И критик ходит по мертвому дому и говорит с мертвецами, как с живыми. И выходит дом сумасшедших. Горше же всего, что и там, где книга жива, критик уже сам превращает ее в труп, что уж и вовсе бесстыдно и неблагодарно. Корабль плывет под парусами, надуваемыми самой командой, — корабль дураков, притворившийся «летучим голландцем».

15 июля 1980 года

Давно хотел записать, как на Введение внезапно был поражен лицами старух, идущих от причастия. Одно лицо краше, покойнее, печально-сосредоточеннее другого. На каждом так легко читалась судьба, полная лишений, преображенных Господом и смирением — в свет. Взгляд их был еще там, в Тайной вечере, и они не видели других молящихся и были впрямь отделены от них таинством. Не знаю, смогла бы схватить это сосредоточенное *со-причастие* жертвенной свободе кинокамера, но когда бы смогла, то лучшего портрета русской матери снять было бы нельзя.

22 мая 1985 года

Вечер и половину ночи с С.А.Алимовым¹, В.Клыковым и С.Ямщиковым. Решали национальные вопросы и разрабатывали меры по выправлению положения. При этом, естественно, перессорились. Клыков все время обвинял Алимова в слишком отвлеченном мышлении и требовал прямого дела. Алимов терпеливо вызывал в клыковской душе широту и терпимость, потом, видя напрасность этих апелляций, напоминал, что были иронисты по отношению к России не только среди евреев.

— А Некрасов! — восклицал Алимов.

— Это неудачный пример! — торопясь, отклонял Клыков.

— А Салтыков-Щедрин?

— Это неудачный пример.

— А Гоголь? — Это неудачный пример.

— А Чехов? — Это неудачный пример.

— Но что же удачный-то?

— Фет! — обрадованно противопоставлял Клыков.

— Это какой же Фет? Это тот, который родился от Афанасия Шеншина и дочери еврейского корчмаря, соблазненной им? Этот «полтинник»? — удивлялся Алимов.

— ...! — терял дар речи Клыков.

Славный вечер.

¹ *Алимов Сергей Александрович* (род. 1938) — российский художник мультипликационного кино, график.

23 мая 1985 года

Пошел показывать Булату Шалвычу, что написал о его романе «Путешествие дилетантов». Окуджава показывает портрет 45-летней Лавинии из своего «Путешествия» и рассказывает, что американцы прислали продолжение ее судьбы — замужества, замужества... Корит художника книги («Мятлев у него как преуспевающий член Союза писателей, а Лавиния — сушая дура из купчих»), потом записывает пронзительное стихотворение, из которого я делаю вывод, что схватил суть «Путешествия» верно. Дом тяжеловат, как-то буржуазен, хотя на стенах шемякинские картинки, карточки Набокова и все «виды» самого Окуджавы с друзьями и без, чучело ворона на черепе, безделушки, шпаги, пистолеты, кирзовый сапог с надписью «Будь здоров, Булат!» Иллюзия семьи (после принудительного возвращения его в эту семью при помощи партийного бюро, когда он улетел по следам своего бедного князя Мятлева за нечаянно явившейся Лавинией) с неслышным свистом сквозняков по дому. Было тяжело. Хотелось поскорее проститься, и я бежал. /.../

16 июля 1985 года

Не выходил весь день. Читал Конецкого о Казакове и о том, как Е.С.Булгакова, ища на задах бесхозных кладбищ плиту для надгробия Булгакову, нашла таковую. Когда ее привезли и перевернули, на ней было написано: Гоголь.

28 ноября 1985 года

ОКНА. Однажды среди старых фотографий, которые оседают в наших домах, как пыль времени, я вдруг увидел, что часто снимаю окна. В деревнях, гостиницах, в домах, куда заносила судьба и под рукой оказывался фотоаппарат. Просто подходил к окну и снимал, не заботясь, чтобы в кадр попадало что-нибудь замечательное. Это было и не фотография, а так — настройка света и впечатления. А вот сейчас смотрю на эти ничего не содержащие снимки — и рама растворяется, врывается шум ветра, голоса и входит простое, как этот случайный снимок, воспоминание...

24 июня 1988 года

Сутра зашел в «мою» комнату Виктор Петрович <Астафьев>, поставил Альбинони.

— Нет еще равного ничего. То прибалты порнографию какую-нибудь сунут, то наши какие-то слюни. Есть еще нечто похожее в «Неоконченной» шубертовской симфонии. Всегда слушаю и думаю: как же ты, бедняга, намаялся! кто же это тебя так изранить успел? Там есть даже прямо в зал обращение: помогите! Хотя не мне, так себе помогите. Но — куда там человеку? До того ли? Наши вон дурни на эту музыку девок под водой показывают, как они ноги высовывают и попами вертят. Нет, правильно Толстой говорил: не жалко, что люди погибнут, а музыку жалко. Раскопают археологи однажды и все поймут про наше идиотство и гибель, но, если не восстановят музыку, ничего не поймут.

Тут же рассказывает, как Мравинский репетировал в Токио. Подымет руки, сыграет пару тактов — опустит, подымет — опустит. Никто ничего не понимает, и он сам говорит: «Ничего не понимаю».

Потом вдруг:

— Марк Соломоныч, — показывает на одну из вторых скрипок, — вы на чем играете?

— Да понимаете, Евгений Александрович, у вас строго, а я сегодня при сборах не успел забежать в отель — боялся опоздать — и вот играю на дежурной скрипке.

Репетиция была остановлена, и Марк Соломоныч отряжен в отель. Ох они Мравинского и боялись. И он никогда не ошибался в подборе музыкантов: если уж взял, они у него как прикипали, не менял. /.../

20 марта 1990 года

Позавтракал — и в гостиницу. А там почитал его <Астафьева> «Прокляты и убиты». Роман матерщинный. Бог вещь как и печатать будут. А отступить нельзя, потому как мат тут не для красноречия, а чтобы быт был как был, потому что мат — это часть общего тоскливого ужаса, какой-то привычной смертности, помойной заброшенности бытия в запасном полку: лагерь и лагерь, и от человека скоро мало чего остается. Особенно сильно и страшно написана смерть близнецов Снегирёвых — расстрел мальчиков, сбежавших к маме и счастливо вернувшихся с едой для своего отделения. И сколько поправок в сцене любви и в сцене расстрела! Как трудно укладывается текст, как ищет точности! Все до строчки переписано, и даже на обороте листа наворочено. Мысль выпрастывается тяжело, наглядно, бережно — подлинно роды, смотреть больно. /.../

12 июня 1991 года, Красноярск

— Видал, кедр-то? Ожил! Чистый медведь! А ведь я его на дороге нашел с раздавленным корнем. Принес, посадил. Хочешь, говорю, жить — живи. Смотри — принялся. Видать, не из балованных. Видал, шаг какой, стрелу какую пустил. Сразу видать — деловая древесина. На бумагу нашему брату — романы писать. И елки как взялись!

Тетка все качала головой: «На какого лешего ты их насадил? Ведь на их ниче не растет».

— А марьяны коренья уже отошли, опали вон. И стародубы — это уж остатки. А так тон у него зеленее, гуще, тяжелее и сам цветок плотнее цветом. А сколько было медуницы! Все было сине! А это видишь? Это подснежники с Урала. И водосбор уже отошел. Я его теперь как-то больше люблю. Когда понял, что детство уже не вернуть, по цветам по этим больше тоскую и их жалею. Погляди вон у меня на столе. Это ведь только с моего огорода — белая сирень, жарки, водосбор, стародуб, венерин башмачок. А в лесу это еще чище, ярче. И птиц было весной! Шуры, зяблики, снегири не улетели еще.

Приехал, а тут снег вот такой! Западали птицы без корма. Я ходил разгребал снег, ребятишкам говорил: разгребайте, говорю, ведь птицам ись надо. Ласточки-береговушки уже по застрехам живут. Яры-то извели — норы не сделаешь. А прилетают всегда 21 мая. Еще 20-го глядел — не было, а утром выхожу — вот они! И так каждый год! Календарь! Никуда не садятся, летают, летают, оглядываются. Скопа жила прошлый год за Караульным Быком. Вороны прогнали. Они ведь, падлы, скворцов таскают. Чуть зазевались где мать с отцом — они цоп из гнезда, и пошла-а-а в лес молчком, боком летит, знает, что преступление совершила. У меня вот в скворечнике жил, все поглядывал. Я говорю: смотри, довысовываешься! Слава Богу, недавно вылетел. Ну давай, говорю, с Богом!

А во мне все разорено. Как и во всех. Роман-то потому и нейдет. Пока себя не соберу, и в нем ничего не уляжется. Даже первую часть не соберу, а во второй материал пойдет вовсе тяжелый. Сначала думал так во тьму и увести. А потом все-таки вижу, что надежда должна быть, выход должен теплиться. Не живет русский человек без надежды. Думаю, увезу своего героя к старообрядцам северным. Пусть к ним прибьется и с ними устоит. Они вон только сейчас из тайги стали выходить, землю брать. А как их травили! С вертолетов гнали, бензином жгли, загоняли совсем в смертные места, где и хлеб не родился, и картошка в ногу. Но устояли! Если еще России постоять — она от Бога пойдет.

Ни хрена эти наши умники не понимают. Какие мы европейцы! Какая там литература? Откуда наплодилось этих снобов: «Я русскую литературу не читаю, советскую тем более»? Ну и дурак. А там на мир хватит, и мир это понимает. Да и в советской не все Бабаевские да Кочетовы. Одни Гоголь с Достоевским у нас чего стоят! Да и «малых» наших на их великую литературу наберется. Даже одной провинции, которую мы вторым сортом держим, — Случевский, Майков, Полонский. Романы-то не зря на них Чайковские и Римские писали. Есть там этот тон пронзительный, судьба...

Сами себя не умеем читать. По Чигиринову вон какую уж серию показывают. Чего материал портить! Рижскую тут какую-то такую же безразмерную картину смотрел: ссылка, поселение, тоска. Подробно, скучно. И вдруг эпизод, как мать шестерых детей помирает в поезде и они ее где-то на полустанке хоронят. Наспех какую-то не могилу — канаву вырыли, кладут, лицо закрывают, заваливают, торопятся. Младший руками гребет грязь, заплакать некогда. Отец мечется: не успеют, отстанут дети. Пошел поезд, бегут машут грязными земляными руками... Вот и все! Не снимай больше ничего! Тут тебе и ужас, и ссылки, и горе без исцеления. Нет, разведут...

22 июня 1992 года

Бесчеловечная отвага Н.Берберовой, горько хвалящейся, что у нее нет детей и внуков и потому она свободна говорить то, что говорит, и беспристрастно взвешивать добродетели и пороки своих бедных современников. Это блестящее мастерство, эта холодная ослепительность, эти мужество и ирония в конце концов вызывают жалость, словно эта блестящая жизнь на глазах изошла впустую. Как будто она жила не среди людей, а *сквозь* них или по касательной и вечно обернутым наружу зрением ни разу не впустила их в себя и не вошла сама. Человек был истреблен ни на минуту не закрывавшим глаза художником. Как это в письме к ней чудно выговорено Георгием Ивановым: «Бешеная, рвущаяся к жизни одаренность, как если бы была разорена оранжерея — весной *сквозь* выбитые стекла, покрывая весь мусор разоренья и то, что в почве уцелело еще от редкостных цветов, все глуша, ничего не соображая, торжествуют, наливаясь соками, лопухи».

Боюсь, так будет и с моими дневниками и более всего та же опасность будет касаться дневника монастырского, где наблюдательность отобьет веру и загородит

глаза на самое существенное, без чего даже и самые точные страницы будут лишены живой правды.

5 сентября 1993 года

Астафьев стареет и злится, как старели и злились Толстой, Бунин — все жизнелюбцы, «естественные» люди, кто знал плоть жизни и умел писать ее лучше всех. Все на определенном пороге становятся желчны, публицистичны, «не могут молчать», разочаровывают читателя, выказывают дикие реакции на события и выпадают из жизни. Читатель не по инерции слушает их, но отходит в печали, потому что сам этот читатель именно в силу сродности своей, как ни странно, оказывается более духовен и вернее слышит середку правды, умеет найти равновесие духа и плоти.

28 марта 1994 года

Чем внимательнее всматриваешься в течение времени, вчитываешься в газеты, тем очевиднее делается, что история как шла, так и идет старинными дорогами лжи, двоедушия, притворства, насилия и решает все те же бездарные задачи — как прибавить себе территории. Выкачать из ближнего побольше денег, надавить и преуспеть. Бог ничего не переменял в мире, несмотря на внешний успех мировых религий. Вместо Него дела прочно ведет Инквизитор господина Достоевского.

Достаточно поглядеть на происходящее в Чечне, Таджикистане, Абхазии, Пакистане, Сирии, Югославии, Косово (только поворачивайся), чтобы увидеть, что новые силы зло и безжалостно теснят старые и наглеют. И бесстыдство скоро берет верх над нормами века. Уже видно, что, как мы ни упираемся, арабы займут Европу, а мусульмане — наш юг и будут медленно теснить «белые» народы, пока не сживут их со свету, перестроят центр мира, родят новые государства и границы, выживут старые веры, отведя им в лучшем случае, как турки в Константинополе, приличный уголок, который никому не мешает. Но из которого можно сделать туристический уголок и сдавать его заезжму иностранцу.

Страшно сказать, но похоже, что христианство — только ветвь эволюции, но эволюции не идеальной. Царство Христа не от мира сего. И христиане — это ветвь небесная, и ей нет места на земле. В истории мы только помеха, потому что не можем, не должны принимать ее правил, а по нашим она не может развиваться, потому что должна для этого стать историей небесной, то есть просто отменить себя. Пока на эту отмену не похоже, и значит, мы будем выметены вон или сплотимся и выйдем против мусульманского мира, но тогда перестанем быть христианами, ибо убийство даже в высших целях все-таки в последнем суде оправдано не будет. Мы можем победить только безоружностью, но это высшее оружие никто, кроме Христа, не использовал. На уровне креста не использовал, а одними святыми истории не перевернешь, даже если их накопится армия. Это все-таки армия одиночек. Христианин, кажется, вообще изначально одинок. То есть собеседник одного Бога, и больше, чем двое или трое, во имя Его собраться не могут. Если больше, то уже начинает действовать закон не Его, а эра четырех-пятерых, их промежуточное, объединяющее право, которое постепенно закрывает Бога.

16 марта 1995 года

Не написал Достоевский второго тома «Преступления», пообещав, что там начнется новое, сжег Гоголь свой второй «Мёртвых душ», где должно было явиться новое... И сколько еще! Не потому ли, что Россия все только обещает это новое и это обещание так явственно, что каждый слышит его в себе, но это вечно несбываемое новое не то что несбываемое, но и вовсе не имеющее сбыться, иначе русский перестанет быть русским. Вот мы сейчас на этом последнем пороге необходимой перемены и есть.

16 июня 1995 года

Съездил с соседом на Ману. Как все успело загадиться и обеднеть, обрасти дачками, каким-то жалким временным жильем! Какое-то вечное переселение, табор, шатры изодранные с иллюзией уюта и покоя. Каждый метр берега в битом стекле. У магазина «Рябинушка» вездесущие связки бананов, чужих апельсинов и такого глупого в русской земле киви.

Нет, теперь он <Астафьев> мне не даст покоя. Иногда он ведет себя так, будто его обманули. Он пришел в литературу, как все мы, — с испуганным почтением, с религиозной верой в святость «литературного иерея» и всякого «катехизиса». А они постепенно обнаруживают бедность, и лживость, и предательство жизни. И вот он крушит их всех подряд, не вчитываясь в оттенки. Устал быть верным. Наконец почувствовал полноту сил и счастливую возможность доверять себе. Опыт лет и читательское внимание понемногу исцелили от комплексов, и стало ясно, что можно говорить, что думаешь. Это зыбкое преимущество. На одно попадание тут приходится два промаха. Но эта бедная, хотя и выигрышная осмотрительная арифметика не для него: он узнал отравляющую сладость свободы прямого высказывания и уже не страшится поражений и разрывов, потому что освобождение покрывает все и все искупает.

Есть у Манделштама в «Египетской марке» выражение «у него было ложное воспоминание». У В.П., как кажется, большинство «воспоминаний» ложны. Он не выносит мусора и незавершенности жизни, и тотчас одевает ее в сюжет, и так уже и носит воспоминания упакованными в сюжет, пока они не окаменевают там. Сравните воспоминания М.С. о поездке в Киев в вагонном сортире с изложением этого сюжета в повести «Так хочется жить», и станет ясно, что я имею в виду. При этом оговорки, что это «проза» и «повесть» и что герой не В.П., а Коля Хахалин, не будут иметь значения, потому что я слышал этот сюжет за десятилетие до повести в устном воспоминании с подлинными героями и сюжет там уже был построен. Со всей антропологической хищностью он тотчас оденет в сюжет и воробья на своей яблоне, и ворону, прилетающую из-за реки.

Вот, пожалуй, такая еще мысль: когда человек из народа уходит в интеллигенты, он чаще прописывается по новому сословию и уже мыслит «народ» отдельно, «они». А В.П. переехал в интеллигенцию со всем народным добром в себе и хоть тоже про них «они» говорит, но эти «они» все в нем, и способ поведения его вполне народен. Реакции крестьянские, живые, как у дерева и птицы. Только народ обыкновенно отстаёт от самого себя, пересиживает, до последней минуты удерживает привычное, чьи законы знает. А этот полетел вместе с историей и реагирует не сообразно ее историческим хитростям, а как птица под ветром — сразу, но только, в отличие от птицы, не безусловно, потому что исторические ветры не то же, что природные: они дуют во все стороны сразу, и не всегда выцелишь стержень. Он как в рукопашной. Пока еще разберешься, где кто, а пока в горячке сунул этому и тому. И нет-нет и своему заедет. Хотя нет, это не подойдет. Тут важно схватить именно природность реакции.

Народный интеллигент хорош в устойчивые времена, а когда все сорвалось, он в реакциях куда как неудобен. А тут еще пора зрелости, готовность мысли, да и общее вслушивание, уже избалованность, привычка к тому, что тебя не перебивают и ты всегда в сольной и активной партии, а остальные только сопровождение. Даже если не попадающее в тон и диссонансное сопровождение, то все-таки как реакция на тебя как вторичная, тобой вызванная. Утрачено диалогическое чувство, вслушивание полноты чужого и доверия этому чужому. Это возможно только при церковной или высокой нравственно-интеллектуальной дисциплине. Он не нажил ни того, ни другого. Он просто живой, естественный человек, который всегда в России тяжел.

18 августа 1997 года

Прочитал в переписке Б.Пастернака о его отце, который пишет дневник с беспредельной верой в историю — наивной и неколебимой. Только так и надо писать, иначе вообще браться за перо не стоит — без доверия к истории, без наивной веры, что твоё сочинение будет прочитано и верно понято. Настоящее писание не отнимает время у читателя, а строит это время, наполняет его, оформляет, попросту делает временем — из ничего, из пустоты. Время проступает в человеке при чтении, и он говорит себе: я есть. Только это и есть чтение — извлечь человека из пустоты быта, из прочерка и наполнить.

21 декабря 1997 года

Читал А.Л.Шишкову — И.Бродского, «Письма к Постуму» («Римские элегии»), а он, перебивая, норовит прочитать мне Рубцова как ценность абсолютную по отношению к ценности субъективной, узкой, краткой, частной. Я понимаю его, но вдруг открываю, почему молодые люди больше любят Бродского и не слышат Рубцова. Они живут вместе с Бродским в словесном мире, за которым уже нет живой земной реальности. Слово взяло верх над миром. Оно наконец наполнилось сладостным тысячелетним для нас и двухтысячелетним для Европы смыслом, вобрало в себя все оттенки каждого понятия, нажитого за этот срок, и неизбежно стало больше сузившейся реальности. Реальность сиюминутна и коротка. А слово содержит и её, сиюминутную, и помнит все оттенки тысячелетия, и в нём космос мира, смыслы — дальше, чем в реальности. Между тем реальность ведёт себя так, словно в неё ничего не вместились, и она полнее слова.

Это легко проверяется на маленьких художниках. Совершенно послушные реальности, они списывают её верно и удивляются, почему глупый мир предпочитает им «словесников», которые ведь «мертвее» их «живой правды», тогда как на деле «словесник» охватывает большее поле ассоциации и ближе к полноте мира, чем этот бухгалтер мелочей. Но это совершается только при условии, когда поэт, как Бродский, обнимает словом смысл больших культур — иудейской, русской, английской. И слово-то остается вполне наше, но оно начинает мерцать глубиной, проступаниями иных столетий и вер, и мы легко узнаем в нём и свое, сквозь которое светит ещё и острота чужого, словно мы разделили чтение с кем-то умнее нас.

Настоящее, наше, рубцовское, этого не содержит. Оно только я и Бог, я и земля, полное слияние с материей мира, слышание, как «звезда с звездой говорит». А там мы слышим и поэта, и его слушателей, и тех, у кого звезды говорили до него. Потому поэзия Бродского — это всегда усталость, чуть пресыщенность миром. А у Рубцова — благодарность за «я есмь», даже когда пишет о тоске. Но тут есть опасность породить поэтов, которые сами-то слышат в слове глубину, но мы слышим в слове другое значение и потому равнодушны к нему. Он берет только оболочку слова, его интеллектуальный ряд, именно сразу ассоциативный, а не корни слов, не полноту его природных значений, не кровь их, как Бродский.

А короче сказать — пришло время, когда слово вошло в ряд реальности, стало не одним отражением мира, а самим миром. Мы «надышали» его за тысячелетия всей полнотой реальности, как надышана силой молитва, которая вытаскивает за волосы даже первый раз произносящего её человека, как намолена икона, содержащая в себе все мольбы и слезы стоявших перед нею в столетиях. И художник ищет в слове не только инструмент, но и соратника и противника. Это уж как подойти.

Если ещё по-другому сказать: будешь думать полно, страстно любить всем существом своим — слово откроется во всю ширь, а чуть себя выпятил — оно, как улитка, свернулось: и одно и то же, да не то. Выдохлось...

Кто-то сказал, что у древних было перед нами замечательное преимущество: они располагали временем, чтобы, не торопясь, разрешать для себя смысл происходящего и понимать природу вещей. И оттого их поэзия была высока, трагедия очистительна, а мысль несравненна. А уж сегодня, оглядывая происходящее хотя бы в литературе и театре, которые мне поближе и получше известны, машешь рукой: чего обдумывать-то! Уже никогда не будет ни «Войны и мира», ни «Короля Лира».

А вот причину разобрать недосуг. Отговариваемся, что талантов нет. Однако, если приглядеться, заметишь, что культура слова выросла чрезвычайно, что объявилась бездна стилистов, умеющих тончайшим образом воспроизвести мимолетное, способных задержать и описать дуновение ветра. А уж великолепных ремесленников и просто без счета, и они тебе хоть Гёте, хоть Достоевского передразнят. Но сказать долгой объединяющей правды некому или некогда. Художнику оказалось не по силам выбраться из мира, спрятаться для долгого размышления. Общество настигает его газетами, телевидением, радио и в последней глуши. Незаметно умерла культура частного человека и окрепла культура общественного, изводящегося в бегах пропитания и сиюминутной славы. А ностальгия осталась.

Мы тоскуем о духовной родине. Но тоска, если в нее взглядеться, какого-то странного свойства. Похоже, «Война и мир», как и шекспировы «Гамлеты», и не нужны. Нужны истины на каждый день, и они выделяются со скоростью дня, чтобы уже завтра перестать быть ими и уступить новым «истинам». Надо успеть понять и одеть в слова нынешнее утро. Будущее, пожелав узнать нас в лицо, найдет сотни маленьких книг и океан Соляриса, переосмыслив их, вытолкнет на поверхность дробного человека, в котором «отразится век», «и современный человек» будет изображен довольно верно. И явится из этого странный вывод, что умерла культура общественного человека, объединенного верой во всечеловеческое единство (как у толстовского Пьера Безухова: «И все это во мне, и все это я»), и окрепла культура частного человека, бежавшего из слишком общего мира к себе или малой группе собратьев.

6 ноября 2003 года

Прочитал Бродского о Платонове.

Вывел для себя нечто, о чем он говорит вскользь, что раз уж взялся за такое дело, как сочинительство, надо идти до конца. Не стесняйся успевающих или не успевающих. Не гляди на то, что рынок ищет поспешности и побеждает. Не бойся того, что макулатура может вытеснить все, не оставив никакого места твоим «умствованиям». Умствуй! Где-то сидит такой же «умник» и только ждет твоего приветов, потому что сам робеет больше тебя.

Увы, я уже никогда не буду идти до конца. Не выучился ценить себя. Пропустил порог, за которым можно было напрячься и устоять перед натиском «города», «общего мнения». Все время бегал за «умными», стыдился своего деревенского. И когда осознал, было уже не догнать. Душа уже была опустошена.

Он замечательно говорит о том, что прочитать сегодня список более или менее значительных русских писателей — это все равно, что прочесть список жертв воздушной катастрофы, что катастрофа произошла именно в воздухе — в мире идей. Подлинно «взлетели на воздух» — заигрались в идеи! И оттого предали человека, а с ним, кажется, и веру, хотя только и твердим о «православной твердости».

Вот это — о вере — особенно болезненно. Я это очень чувствую по своему «Небесному Отечеству». Неуверенность в каждой строке. Незнание загоняет в угол, а сложность и метафизичность предмета и вовсе отнимает отвагу. Тоже, в общем, отделяешься общими местами, декорируешь незнание уборами красноречия. Выезжаешь только на том, что другой еще неувереннее, чем ты, и знает не больше. А выход все равно в том, чтобы стоять перед Богом с достаточной твердостью. Не можешь узнать, хотя бы не притворяйся знающим, говори, что чувствуешь, опытом

души и лет. И говори, что это опыт души и лет. Легче простят, да и сами будут увереннее в себе, в голосе своей души. Обманчивость «успеха» развращает и, в сущности, унижает душу. Сам-то знаешь — что сделал. А все-таки поперек не скажешь и будешь выпячивать грудь, как будто действительно сделал что-то стоящее. Впрочем, что об этом сто раз? Тоже уж вроде кокетства. Молчи себе.

16 декабря 2004 года

Долгое чтение «Библейского словаря» с опять неожиданным чувством тесноты истории. Эти Неемии и Ассур, эти Ниневии и Вавилоны... Как начнешь отсчитывать от Рождества Христова, которое уже навсегда сняло время, сократило его на две тысячи лет, то все сразу кажется так недалеко. Словно с Рождества Христова это наша собственная биография, одна человеческая жизнь, а там уж деды и прадеды. И как начнешь с первого-то года при спокойно укладывающихся в уме двух тысячах, как одном мгновении, то и увидишь, что время — это только слово. А позабудь его — и мы все сверстники. Кто постарше, кто помоложе. И опять потянуло к этим камням, где время стоит, как полдневный зной (легко почувствовать, что Иисус Навин действительно остановил солнце).

Вечером смотрю финал «Жертвоприношения» Тарковского, эту несчастную атомную бомбардировку и неисходность. И общие мысли. Что вот жили, суетились, а все напрасно. Любили одних, а вышли за других, все чего-то хотели, а вот времени, оказывается, уже нет. И уже ничего не поправишь. Бедный, он из своей гениальности думал о том же, о чем думает каждый человек. И опять не был услышан.

26 августа 2005 года

Псковское радио в рекламе пригласило ветеранов войны зайти узнать о новом благодеении властей, обещающем бесплатную доставку в морг, похороны за счет государства и оградки с плитами. Умирай на здоровье! Последний подарок героям.

26 сентября 2006 года

Все меньше различаю искусство — неискусство. Все слипается в ровной срединности. Один получше, другой похуже, но кажется, могут в другой час поменяться местами, потому что оттенки зависят только от твоего душевного состояния: сегодня повеселее, завтра погрустнее. Мощное дыхание ушло, а на уровне комнатного существования все одинаково. Один погромче, другой потише. Но все комната. Общий уровень очень возрос, но возрос опять же массой, толпой и оттого как был неразличим, так и остался. Только неразличимость стала эффектная и умеет удержать тебя, пока читаешь, в уверенности хорошего качества, так что, будучи в жюри чего-нибудь, можешь подумать: вот! Но не торопись, дождись завтра и другого сочинения и опять поймашь себя на мысли: вот! Но уже как будто чуть подпорченной мысли. А когда и третье, и четвертое «вот!», то это уже смущение: то ли ты оглох, то ли они все поумнели. Они поумнели, вот ты и оглох. И не оглох, а слух притупился, устал от высокой равнинности.

13 октября 2006 года

Вознамерился было, в подражание Дурьлину и Шмеману, вернуться к дневнику мысли. А мысли-то и нет. И день за днем откроешь тетрадку вечером, посидишь-посидишь над нею, да и закроешь, потупив глаза. А то, что придет на минутку, то тотчас норовишь в дело пустить, «вставить в книжку». Экономный стал. У Шмемана вон открою и только вздохну — каждая страница каждого дня полна сокровищами. А все потому, что небо не терял из виду, потому что диктует-то нам оно, а земля только слова и примеры подставляет.

9 декабря 2006 года

Вот, может быть, наше отличие от Европы и Америки. Они — дети дня и дела, а мы — дети ночи и сомнения, дети созерцания, памятования смерти, которая сразу отменяет все усилия, обесценивает их.

22 августа 2008 года

Эмигрантская литература подарила нам Россию — нежную, отдельную, словно и у нас ее отнимали и мы увидели ее впервые: эти прекрасные облака, которые не летят так ни над какой другой страной, эта тень «русской ветки» на руке, эти Бунин, Зайцев, особенно Набоков, его «пятнистый русский свет». И за всем вечный Адамович: «Когда мы в Россию вернёмся, о Гамлет российский, когда?»¹

Вдруг перечитал набоковскую «Машеньку» и заволновался, как при встрече, и даже на минуту отложил книгу, когда Ганин увидел фотографию Машеньки. И как ярко увидел последнюю главу, где Ганина поражают «трезвые» рассветные тени там, где он привык видеть поэтические закатные. И рабочие строят совсем новый дом, и стропила сияют свежестью, и все молодо. Значит, все — с тем кончено! И все впереди! Но мне уже не разделить этой бодрости Ганина, и всякое воспоминание прощально: оно уже не сулит нового. «Трезвый свет» уже только холоднее и холоднее, и под ним облетающее дерево печально, голо и не утешено светом заката. И теперь кажется, что и там, в Рождестве, тени Машеньки и Ганина уже не найдут приюта. Они и там сгорели, и «перрон!» портика навсегда опустел. Может быть, что-то насильственно театральное еще и может быть вызвано под эти колонны, но уже не нами и не для нас.

¹ Стихотворение Георгия Адамовича «Когда мы в Россию вернёмся...».

23 декабря 2014 года

/.../ Открыл свою адресную книгу недавних лет и ахнул: половины не помню. Кто это? О чем мы с ними говорили? Какие журналы они представляли и где эти журналы, какие проблемы занимали нас? И вот вычитал глубокую мысль у Р.Музиля, что «великой литературы нет потому, что она не нужна времени». Гений и Бог помешали бы сытым людям почувствовать, что их жизнь правильна. Так что нашим дням нечего сетовать на отсутствие большой литературы.

25 сентября 2015 года

Было у матушки русской литературы три сына. Старший, Виктор Петрович, — веселый, храбрый, нежный, умный, все норовивший взять на себя и за всех ответ. Средний, Василий Иванович, — как все средние, чуть с царापинкой, словно ему уже меньше любви досталось, чем старшему, да еще и ростом не очень вышел, так надо характером взять. И младший, Валентин Григорьевич, — тихий, все старающийся пройти незаметно, — чистый Алёша Карамазов. И столько было в нем тишины и любви, что его любили все и глядели с нежностью, именно как на младшего брата глядят. И оттого, что ему больше всех материнской любви досталось, он и узнал женское (не одно материнское, а вообще женское) сердце как никто: взять ли великую старуху Дарью из «Прощания», Настёну ли из «Живи и помни», переводя которую на японский, Харуко Ясуоко взяла да с последней точкой и крестилась в Православие с именем Анастасия, потому что знала теперь, как и за кого жить и как душу держать. И Тамара Ивановна («Дочь Ивана, мать Ивана»), берущая в руки оружие и возвращающая миру справедливость, раз государство не решается сделать это, — жизнь защищает жизнь. И назвав эту женскую и материнскую красоту, младший ушел, выполнив Господне задание до конца.

Ушел за старшими, сказавшими свою часть правды о русском человеке раньше. Теперь она в том человеке, каким он был от века, сказана вся. А нынешний родился

уже не в истории, а из перевранных ее учебников, он словно стал частью самого себя, и его осколки можно писать только осколками же. Жизнь ушла, осталась, как сердито говорил Толстой о Тургеневе, «литература». Те трое были последними.

28 января 2016 года

Вот я прожил 76 лет. И что понял в жизни, в людях? Какие мог бы прошептать сыновьям слова, чтобы они держали их в памяти и нет-нет вспоминали и говорили: как был прав наш старик! Ни-че-го! Даже, кажется, и глупее год от года (как старый — что малый). Вот читаю Пушкина. Готовлюсь к слову о нем 10 февраля и вижу, как он чертит судьбу в любой запятой в вымаранном тексте, как читает замысел Бога о себе и боится пропустить эту запятую. А я вдруг вспоминаю, что и в текстах своих журнальных просил только не вписывать чужих слов, не править, а вычеркивать сколько угодно, как будто не понимал (да и не понимал), что вычеркиванием можно составить новый контекст, не переписав ни буквы. Уверен был, что всякое слово держит другое и они смысл в обиду не дадут. И никогда не перечитывал изданного, уверенный, что там все «по делу».

А уж теперь и не вспомню. И только по бедности «окончательно теперь вижу», что так ничего и не сказал. И не от трусости, а оттого, что всегда был дитем уличного контекста (какое бы ни стояло время) и только подтверждал «правду» этого контекста. Всю жизнь кивал. И так особенно было смешно, что кивал «независимо» в своей нарядной стилистике, так что будто был свободен и даже временами «смел».

Уж не первый раз думаю: какие дураки эти наши ученые! Все-то они пытаются писать и исследовать великие жизни и имена. Это так красиво и заметно. А пора бы написать и «почву», на которой всходят эти имена. Может, самое-то интересное и есть эти «прохожие», на кого никто не обернется. Ну, это понятно. Я пытаюсь спасти себя и «заинтересовать» мир, что вот-де зачем был нужен, а нет, не додумаю, потому что боязно: вдруг увидишь, что даже «почвы» нет, а есть одно «общее место» Голос из хора, перекрываемый этим хором до полной неслышимости. И хор-то унисонный, не многоголосье.

И чем далее с каждым днем, тем очевиднее это чувство пустоты и напрасности. Умри пораньше — и все казалось бы более-менее цельным, а вот время переломалось, поменялись ценностные границы, и все, что вчера числилось добродетелью, а то и отвагой, вдруг выветрилось и обнаружило внутреннюю пустоту. Оттого особенно мучительную, что время-то пришло более бедное, чем было, только одето пестрее и свободнее. Хотя коли распутинским взглядом поглядеть, то свобода эта поверхностна и развращает человека, освобождая его от нравственной серьезности и ответственности перед Богом и миром. Когда все «свободны», греха нет. Хватит, мол, находились строем, дайте по своей воле пожить, а своя воля-то только в потреблении да потакании себе.

17 января 2017 года

А оказывается, мечта-то моя сбылась! Как в детстве завидовал брезентовым ссутулившимся мужикам, которые ехали на последней площадке товарных составов! Качался над ними тусклый фонарь, а перед ними — уходящая вдаль матушка-Россия, во всю ширь, с полями, лесами, городами, полустанками сквозь солнце, тихий дождик, снег, долгую ночь. Теперь оглядываюсь и вижу, что так и проехал жизнь на подножках и площадках чужих текстов, сопровождая их до конечной станции — читателя — бедным часовым, автором предисловий и послесловий, такой же незаметный, как этот брезентовый человек под одиноким фонарем. Спасибо авторам и издателям, что нашли мне это для чего-то, значит, нужное место в конце состава, с которого так далеко видна жизнь.